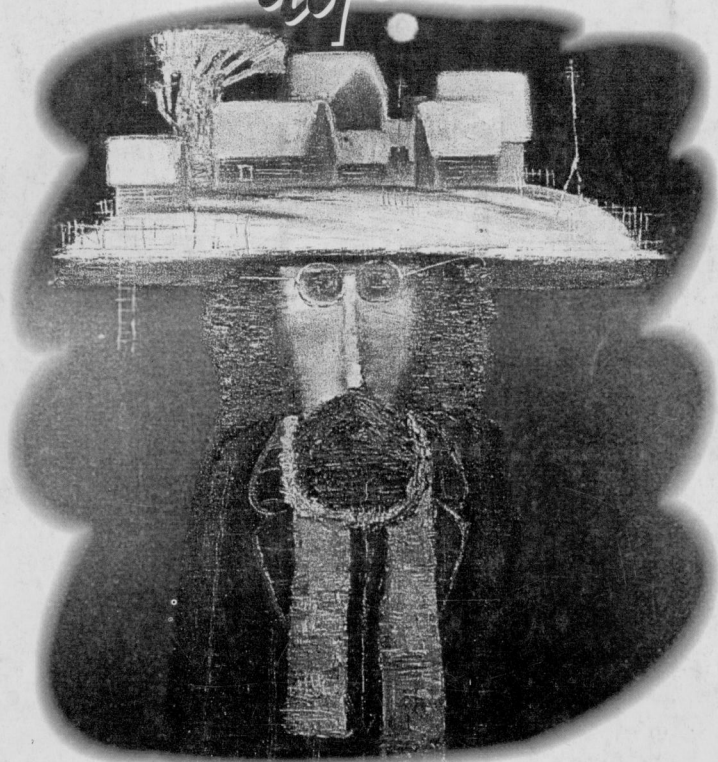


Ст. P2
177 К

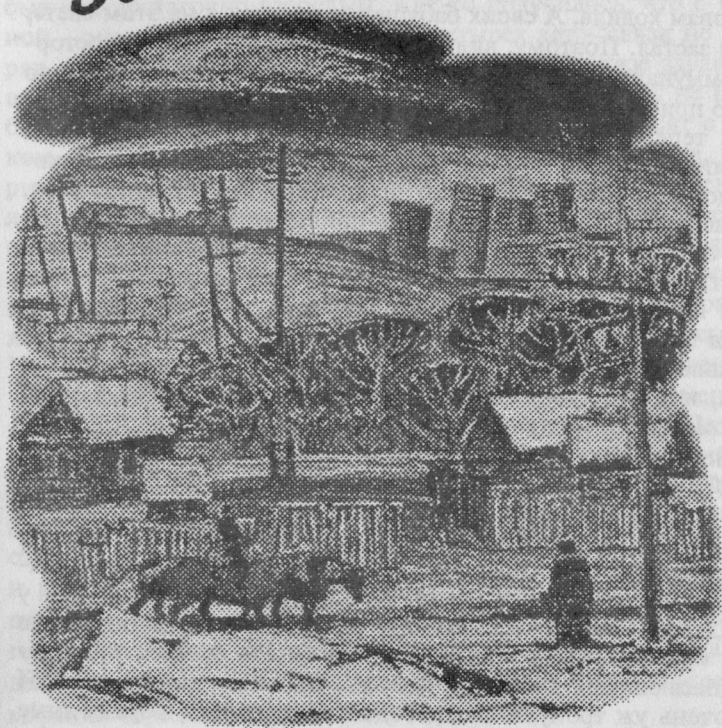
Вячеслав Лопушной

Неопознанное чувство



СТИХИ И ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ

Тде-то за Каменкой



А МНЕ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ДНЯ...

Помню себя с двух лет. Островками-эпизодами, разумеется. Самое раннее воспоминание связано с моей няней Анной Павловной. Это были первые послевоенные годы. Родители порой сутками дома не показывались. Отец, военный, ночи напролет в военкомате пропадал. Мама, врач, - то в больнице дежурила, то по вызовам ходила. А своих бабушек и дедушек я на этом свете, увы, не застал. Поэтому, видно, и поселилась в нашей просторной коммуналке Паална, как ее все называли. Надо же было кому-то присматривать за двумя бедовыми мальцами.

Как теперь могу вычислить, няне тогда уже за пятьдесят перевалило. Смутно вырисовывается ее тогдашний облик какого-то доброго гнома... Смешно признаться, но меня, кажется, долго не могли отучить от вредной привычки нет-нет да и прятаться от всех в укромные места, после чего... возникала потребность в стирке штанишек. Стирая, Паална потихоньку ворчала, а потом гладила мои белесые вихры, тщетно уговаривая никогда так больше не делать...

Паална обожала «самое важнейшее для нас искусство». Мы с братом, понятно, не возражали против таких походов в кино втроем. Из фильмов тех только и осталась в памяти картинка из трофейного черно-белого «Тарзана»: огромный волосатик, прыгающий по деревьям и бьющий себя в грудь. Зато помню, что добросовестно пялился на экран, посасывая леденец...

До Арины Родионовны Паална явно не дотягивала. Сказок, по-моему, вообще не знала. Малограмотная, она, однако, читала нам те немногочисленные детские книжки, что появлялись у нас. Едва ли не по складам она разбирала сквозь выпуклые стекла круглых очков. Как-то Паална читала стишки про оленей, спасающихся то ли от пожара, то ли от наводнения. И меня очень уж тронули слезы бедолаги-олененка, обращенные к подгонявшей его матери-оленихе:

Ну, мама, ты должна понять,
Что вы-то взрослые олени,
А мне всего четыре дня
И у меня болят колени...

Я заставлял няню повторять этот отрывок снова и снова. Боялся, что олененок не спасется. Но как будто все там окончилось благополучно. А эти вот немудреные строчки так почему-то и остались во мне на всю жизнь.

Пролетели годы. Родители уехали из Сибири, я - не захотел, был уже достаточно взрослым. Как-то получилось, что с Паальной - она прожила у нас до моих четырех лет - связи не потерял. Она мыкалась по белу свету. Где-то на Кавказе здравствовал уже пожилой ее сын. Но, судя по всему, она ему не нужна была вовсе. Силы кой-какие, несмотря на восемьдесят с лишком, у нее еще оставались. И Паална наезжала ко мне, умудрившись поселиться в доме престарелых в городе, не очень далеко от моего. Храню ее письма, открытки, испещренные уморительными запредельными каракулями, которые только я один и могу разобрать. Изредка и я отправлял ей поздравления или крошечные переводы. «На эти деньги, - корябала она, - покупаю лотерейные билеты. Все, что выиграю, тебе достанется, сынок». Но, естественно, в лотерее ей везло не больше, чем в жизни.

Однажды Паална приехала опять и попросилась у меня пожить. «Я тебе не помешаю и убраться еще понемногу смогу», - проговорила она, жалобно глядя сквозь толстенные линзы. Я холостяковал, и площадь вроде позволяла потесниться. Но как раз готовился к свадьбе, и просьба застала меня врасплох. Не отказал, но и ничего определенного не ответил. Она все поняла и больше не приезжала. А вскоре получил от нее последнее письмо с моими фотокарточками. И понял вдруг, что Паална готовится к уходу. Засуетился было к ней съездить, да куда там - дел хватало по горло. Запоздало вспомнил о своем благом намерении через много месяцев...

И еще немало лет проплыло. У моих детей наличествовал, как и положено, полный комплект бабушек-дедушек. Правда, жили они неблизко. Но по мере сил и возможностей принимали - и с удовольствием - участие во внуках. Однако не уверен теперь, что няня - добрая и самоотреченная, как Паална, - детям была не нужна. Когда порой срываешь свои неудачи, свое дурное настроение на них, виноватых лишь в том, что... недополучили от тебя любви.

А я как будто не так уж и виноват перед своей няней. Но почему же опять подступают горечь и стыд? Я ведь не знаю даже, где ее могилка, никому, конечно, не нужная. Только вновь застилает глаза влажный туман, когда моя младшенькая вдруг оживляет наивнейшее четверостишие:

Ну, мама, ты должна понять,
Что вы-то взрослые олени,
А мне всего четыре дня
И у меня болят колени...

1993 г.

ГЭБЕШНЫЙ ДЕТСАД

Володя отпустил руку сына у калитки детского сада, и пацан, перепрыгивая через лужи, понесся к крыльцу. Внезапно что-то защемило в Володином сердце. Вроде и детсад был хорош, и воспитательница у парня симпатичная... Только вдруг встала перед глазами зловещая огромная спальня из его детства, и он, беззащитный, под уколами множества глаз...

Вовчик Кочергин уныло ковырялся в остывающей каше. «Что? Не кушается?» - улыбнулась Лилия Ивановна, подошедшая к нему с тарелкой, на которой возвышались кубики сливочного масла. Размешав несколько кубиков, она скормила Вовчику с ложки повкусневшее месиво. Лилия Ивановна была совсем еще молодой воспитательницей с ранней проседью в каштановых волосах и какими-то бархатными карими глазами. Она нравилась Вовчику, и, похоже, не без взаимности. Руки у нее были такие же добрые и мягкие, как у мамы, когда она пыталась пригладить его непокорный чуб.

В столовой Вовчик сидел обычно с черноволосой, острой на язычок Ленкой Серегиной, сероглазой хохотушкой Светкой Зелинской и светлокудрым пупсиком - Людой Крошень. По Люде, кажется, тайно сохло едва ли не все мальчишеское население детсада.

Детсад был кэгэбешный, и, наверное, почти все его обитатели имели какое-то отношение к загадочному серому дому по площади. Ленка, как подслушал Вовчик, родилась от... надзора разведчицы-лейтенантки за сосланным из Москвы дирижером симфонического оркестра. Светкина мама работала врачом в санчасти. А Люда Крошень... Папа Люды работал самым главным генералом. На детские дачи она всегда ездила не вместе со всеми на автобусе, а на новенькой, сверкающей эмалью цвета морской волны и глаз Люды «Победе». Вовка тоже гордился

своей мамой - отца у него не было,- медсестрой в той же санчасти. К самому главному генералу, когда тому требовались уколы, подпускали только ее, потому что только у нее такие руки...

В то утро подавали творог и рисовую кашу. Вовка сделал замечание Ленке: «Творог вилкой не едят!». Та немедленно фыркнула: «Указчиком - по морде ящиком!». Все засмеялись, а Вовчик покраснел как рак. Такое с ним всегда происходило, если чьи-то слова заставляли его врасплох. У него совсем пропал аппетит... Он, как его называли мамыны подруги, был subtilным мальчиком. Переболел едва ли не всеми детскими болезнями, которые упоминались в учебнике педиатрии. Плюс к тому даже умудрился где-то подхватить год назад редкую форму тифа, звучное название которого - «паратиф «А» - он с непонятным для себя удовольствием повторял воспитательницам...

После завтрака мальчики немного поиграли в футбол. Вовчик стоял на воротах, сооруженных из старых кроватей, а Борька Буянов бил ему слабо надутым мячом с развалившейся шнуровкой и полуторчащим хоботком камеры. Когда локти были сбиты в кровь, Вовчик предложил: «Айда пожарную саранчу ловить!». Пожарными они называли красно-черных красавцев, что нечасто попадались среди зеленого племени кузнечиков и другой попрыгучей живности. Еще реже попадались бронзовые жуки с невероятно завидным блестящим панцирем. Такого «пожарника» или жука можно было выгодно обменять на конфеты или печенье, которые кое у кого оставались после родительского дня на даче. Вовчик залег в траву, высматривая добычу и погружаясь в стрекот, жужжание, гудение и запахи разнотравья. Как назло, на этот раз не попадались ни «пожарники», ни «бронзовики». Борька достал выпирающее из кармана подарочное яблоко, сочное, белого налива. На «Дай куснуть» он откусил и вывалил изо рта кусочек Вовчику. Потом толкнул его в бок: «Смотри! Людка Крошень со Светкой в домике играют. Пошли, труссы у них поснимаем!» Вовчик покраснел. Предложение за-

стало его врасплох. Ни о чем подобном он, конечно, не помышлял. Но, похоже, отказываться было нельзя, не по-мужски. Чтобы окончательно рассеять колебания друга, Борька добавил: «Жаловаться-то некому. Екатерина Васильевна - я сам видел - пошла с сумкой на автобус...»

Екатерина Васильевна, старший воспитатель, была грозой всего детского сада и особенно его мальчиковой половины. Пацаны приходили в трепет, если девчушка, усмотрев обиду, начинала громко взывать: «Катерина Василь-нааа!». Женщина неопределенного возраста - ей могло быть и 35, и 50 - она даже в самое пекло носила платья под горло. Ее голос напоминал скрип деревьев на ветру. Русые волосы всегда туго стягивались пучком на затылке. Стальные глаза были посажены на лицо, не выражающее ничего, кроме ответственности за возложенный на нее надзор за детьми. Сильно провинившийся приговаривался ею к публичному выставлению нагишом посредине большой общей спальни, лицом к девчоночьей половине. Правда, преступнику позволялось испросить прощения у обиженной, а значит и помилование. Но если следовал жеманный ответ: «Нет, не извиняю», участь его была решена. Когда приговоренный добровольно не раздевался, на помощь надзирательнице приходила здоровенная, с плечами Поддубного, нянечка Силовна. И жертва, стелаясь, простаивала по песочным часам ровно пять минут на лобном месте. Вовчик просто не мог слышать вопли несчастных и закатывал голову одеялом...

«Пошли!» - решительно потянул его Борька. Сказочный домик был расположен в аккурат в лесу, откуда надвигались злоумышленники, задом, а к корпусу, стоящему в отдалении, - передом. Борька, как истинный стратег, подтолкнул Вовчика перекрыть просторное окно, а сам ввалился через фигурный дверной проем: «Кто-кто в тереме живет?». А затем, вытащив из-за пазухи деревянное подобие пистолета, сделал свирепое лицо: «Снимайте трусы!». «А я все Катерине Васильне скажу!» - жалобно пискнула Светка. «Так она тебе и поверила!» - усмехнул-

ся Борька. Казалось, вполне удовлетворившись таким доводом, Светка как бы нехотя пристадила плавочки до середины бедер... Вовчик через окно тоже влез в домик. Он чувствовал, что делает нечто совсем нехорошее, но себе-то он не мог не признаться, что его влечет происходящее. «А ты?» - Борька наставил дуло на живот златокудрой...

Конечно, Вовчику нравилась Люда. Иногда ее кукольная головка витала над ним в каком-то дымчатом овальном ореоле, вроде девического портрета его бабушки, что стоял в их комнате на этажерке. Воображение заводило его столь далеко, что он... касался ее губами... И вот сейчас непреодолимая жалость к ней охватила душу Вовчика. Он уже готов был остановить Борьку...

«Дурак ты, и не лечишься!» - презрительно разжала наконец Люда венчик своих губ. И не шевельнув пальцем, стала бесстрастно смотреть, как Борька деловито стягивал ее голубые в звездочках трусики до пониже тонких коленок. Довольный содеянным, он устало откинулся на скамеечку. Вовчик не знал куда девать глаза...

«Тааак! Кочергин и Буянов!..» - с ужасом услышал над собой Вовчик зловещий скрип, обладательницу которого нельзя было спутать ни с кем. «Что здесь происходит?!» - скрип достиг силы звука ломающегося дерева... Откуда она здесь, ведь уехала же? Так или иначе, но вид ухмыляющейся неподалеку Ленки Зелинской не оставлял сомнений в том, кто ее привел. «Пока идите, пообедайте. Разберемся с вами после сончасы...» - дерево перешло на обычный скрип.

Ощущение страшной, неотвратимо надвигающейся беды охватило каждую клеточку хрупкого тела Вовчика. Его бил озноб, на щеках выступил болезненный клочковатый румянец, а тыльные стороны ладоней испещрились какими-то сиреневыми галочками. Нет... Только не это... Он не сможет после этого жить...

«Да как вы только могли до такого додуматься!? - всплескивала руками Екатерина Васильевна, выявляя на лице подобие

жизни.- Ну ладно - Кочергин... Но ты-то, Буянов! У тебя отец такой достойный человек!» Действительно, Борькин отец был очень достойный человек, полковник. Вовчик слышал, как Борька хвастался, что его отец главней отцов других пацанов. Слабая надежда зашевелилась в голове Вовчика. Он и раньше замечал, что в число столь сурово наказуемых как-то не попадали мальчишки, отцы и матери которых главнее других. Значит, если Борька скажет...

Следствие долго ни к чему не приводило. Зачинщика не было. Вовчик верил, что Борька спасет его. Ведь они же не-разлей-вода и в футбол и в войнушку. Он вдруг вспомнил еще, как на майском утреннике они, обнявшись с Борькой, пели: «Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой...» Все мамы потихоньку слезы утирали. Да и у Вовчика голос дрожал: уж сильно жалостливая песня. И так было хорошо... Кряжистый Борька сопел, глядел в пол, иногда всхлипывал, украдкой поглядывая на Екатерину Васильевну. Полупрозрачный Вовчик застыл беломраморным изваянием, глядя в одну точку и твердя себе только одно: нет... он не сможет перед всеми...

«Так кто же все-таки?» - решила подвести черту старшая. «Это не ты, Буянов?!» - скорее утвердительно, чем вопросительно обратилась она к Борьке. Тот наконец понял, что от него требуется, и еле заметно покачал головой: «Не...». «Ну что, Кочергин, ты будешь продолжать отпираться?». Ужас происходящего как будто уколом заморозил Вовчику язык, как было недавно, когда ему вырезали гланды. «Ну ясно! Молчание - знак согласия. Буянов, ты можешь идти просить прощения. А ты, Кочергин, сегодня никакого прощения не получишь!» - отрезала Екатерина Васильевна, давая понять, что разговор окончен. Вовчик знал, что она уже не поверит ему: наказанный должен быть! Чтоб другим неповадно было. Только все равно он не встанет.

Люду увезли к вечеру домой, а сероглазка Светка, недолго поискав что-то на небе, пискнула Борьке: «Извиняю...»

Вовчик решил, что не дастся ни за что. Когда Силовна начала было стаскивать с него одежду, он с невесть откуда взявшейся силой вцепился кулачками в резинку черных сатиновых шаровар заодно с рубашонкой, перешитой ему из маминого крепсатинового платья. Казалось, эти посиневшие кулачки невозможно разомкнуть. Но силы были неравны. «А-ааа!» Моя мама вас всех уколами заколет!» - вдруг выпалил Вовчик, уже не надеясь на спасение. На удивление, именно эта неосуществимая угроза остановила нападающих. На мертвом лице Екатерины Васильевны отразилось подобие раздумья. Она отозвала Силовну. «Ладно, Кочергин, иди ложись пока. Но имей в виду: это просто так тебе не пройдет!».

Вовчик не очень представлял в своем виду, как и что ему не пройдет. Понял только, что сегодня его больше не тронут.

Спать он не мог. Его сердечко продолжало бешено колотиться. Вовчик знал, что, если бы это случилось, он перестал бы жить. И вдруг увидел себя неживым в красном гробике на табуреточках. Увидел, как плачут мама, ее подруги, Лилия Ивановна... И горячая влага наконец хлынула из его глаз, упрятанных в подушку, сделав ее сразу мокрой. Рыдания еще долго не отпускали его, пока вдруг он не узнал на своем затылке теплую и родную руку Лилии Ивановны: «Ну не плачь. Все хорошо. Слышишь? Завтра мама приедет».

Утром Лилия Ивановна уехала в город. Но к обеду ни она, ни Вовчкина мама не появились. А приехала черная «эмка», из которой важно вышел усатый прямой военный с четырьмя звездочками на погонах. Отобедав, военный расположился на веранде и начал по очереди вызывать на беседу воспитательниц, нянечек, Екатерину Васильевну...

До конца сезона ни Лилия Ивановна, ни Екатерина Васильевна на дачах больше не появлялись. А осенью Вовчик пошел в школу и потихоньку стал забывать о своих детсадовских бедах.

1994 г.

ГДЕ-ТО ЗА КАМЕНКОЙ

Весь Сережкин барак стоял на голове. Из комнаты Кудяровых раздавался дикий рев Стаськи. Отец молотил его тяжелым солдатским ремнем, время от времени выкрикивая: «Я те покажу больничку!»

Сережке было девять лет, а соседскому Стаське - на три года больше. Их застукали в тот момент, когда старший обучал младшего рукоблудию...

Наконец Стаська вырвался и, подбежав к двери, звонко выдохнул на весь коридор: «Богачи-и!». Это «богачи» больно ранило Сережкино сердце, потому что относилось явно к их семейству Морозовых. Его отец служил замполитом городской пожарной охраны, а мать - директором магазина. Их квартира в бараке выделялась среди прочих. У всех было по одной обшарпанной комнате, а у Морозовых - две, с зеленым и розовым накатом. Да еще одна из комнат - большая - была разделена крепкой перегородкой на спальню родителей и детскую для Сережки с младшей сестренкой. За окном в эту зиму у них хранилось мясо и сливочное масло. И стоял уже, но не работал холодильник ЗИС. А мать Сережки ходила во всем каракулевым: шуба, шапка и теплая муфта в придачу.

Слева от Морозовых жили дядя Павел с тетей Пашей. Дядя Павел работал каким-то немаленьким инженером на авиазаводе, а неграмотная хохлушка тетя Паша была домохозяйкой, счастливой, что вышла за инженера. Павлуша, как она называла супруга, почти каждый вечер накачивался до бесчувствия. Но шума там никогда не было. Разве что иногда из их комнаты доносилось протяжно-ласковое: «Пашуня-я!». Потом тетя Паша показывала Сережкиной матери следы этих «пашунь» - огромные синячищи на пухлых руках.

Дом был дружный. Если зимой кто-то снаряжал санки за

водой к колонке или к сараю за углем, всегда находился помощник с ведрами и коромыслом. А когда заболел кто-то из мало-семейных, то соседи тоже не давали тому помереть холодной смертью. И картошку по осени помогали копать друг другу. Ребятишки тоже держались вместе. Играли во дворе в штандер, ножички, третьего лишнего. Горки зимой устраивали без помощи взрослых...

Комнату напротив занимала истопник тетя Феня со взрослым сыном Федькой, недавно отсидевшим за драку с поножовщиной. С ними соседствовала семья милиционера Каткова. Он-то, как говорили, и посадил Федьку. А рядом обитал одинокий и добрейший часовщик Лазарь Соломоныч, вдовец. Он вечно чего-нибудь изобретал и дома, и во дворе: то замысловатую скамейку вкопает, то турник смастерит, показывая ребятам и «стульчик», и «склепку». Иногда он зазывал к себе Сережку, потчевал сушками с леденцами. Сережка, выдавший и получше угощение, как с голодного края поглощал дареное, пока Лазарь поглаживал его по кудрявой голове.

Сережкина мать, приходя домой с работы, скидывала свой каракуль, надевала телогрейку и весь вечер пахала, как лошадь, до прихода отца. Сережка тоже таскал и воду и уголь. Поважать его времени не было. Ближе от дома шла торговля на ветхом базарчике, куда Сережку отправляли покупать мороженые колеса молока. Эти колеса хозяйки вываливали из железных мисок разного калибра. Здесь же стоял водочный ларек, заставленный четушками и поллитровками. Возле него мужики троили и двоили. У ларька обычно кто-то валялся. «Машиной стукнуло», - шутковали пацаны. «А какой номер-то машины?» - «21-20». Столько бутылка стоила...

Еще одну хфатеру, как ее называла хозяйка, занимало семейство обувщиков Саморезовых с тремя детьми. Старшая из них - незамужняя, лет под тридцать Любка - была, наверное, самая умная в бараке - переводчица. Сережка был потрясен, когда увидел ее в этой роли на хоккейном матче с заезжей иностранной

командой, куда она сама и провела его. Любка бойко переводила речь ихнего тренера, и Сережка сразу в нее влюбился под бравурную музыку, решив, что обязательно станет переводчиком, когда вырастет.

И в последней комнате жила тетя Зоя, уборщица, с дочкой - Стаськиной одноклассницей Викой, обладательницей огромной огненной копны волос. Она была симпатичная, но все ребята дразнили ее рыжей, и Сережка из солидарности тоже.

Когда пришла пора идти в первый класс, родители сочли ближайшую школу слишком бандитской. Но Сережка с первого дня ходил в школу один, почти в центр города, через Каменский мост, который старухи почему-то окрестили молочным.

Их район имел, конечно, какое-то название - то ли Октябрьский, то ли Ленинский. Только все называли его кратко - Закаменка, поскольку располагался он за необъятным Каменским логом. Проходя мост, Сережка каждый раз дивился целому, как ему виделось, городу, деревянному и убогому, разбросанному на дне и склонах лога. Вряд ли от их дома до серокаменного центра с обкомом было больше километра - полутора. Но Сережке этот путь казался длинным. И он порой сокращал его, научившись запрыгивать на зазевавшиеся у перекрестка низкие полуторки.

Семейство Кудияровых, располагавшесся справа от Морозовых, было самым многочисленным в бараке. Дядя Саша Кудияров работал на заводе токарем - «золотые руки». Тетя Вера трудилась санитаркой в больнице. Сестра Стаськи Галька, рослая наливная десятиклассница, была предметом вздыханий тюремщика Федьки. С ними же, за фанерной перегородкой, обитали родители дяди Саши - пенсионеры, бывшие учителя - Александр Иванович и Ольга Алексеевна...

Стаську все били, и Сережка уже простил ему «богачей». Он думал о том, как это несправедливо, что они с сестренкой живут в такой богатой семье, а Стаське так не повезло с родителями...

В комнате Кудияровых нередко пахло перегаром - дядя Саша тоже пил изрядно. Однако Сережку влекло к ним. Он любил заглядывать в крохотную выгородку к старикам. Те подробно расспрашивали Сережку про дела в школе, а ему было чем похвалиться. Александр Иваныч прикинул вдруг к настенной радиотарелке и сообщил Сережке, как взрослому, что-то важное из услышанного. Дед Саша был домкомом и самым уважаемым в бараке. Отец Сережки тоже иногда приглашал к себе Александра Иваныча, и они чаевничали, рассуждая о международной обстановке, о видах на урожай. Спорили, когда жить лучше: до войны или после. Однажды дед Саша принес журнал с большим портретом важного лысого в пенсне. Отец выхватил у него этот журнал и порвал на клочки, горячо убеждая старика, что того могут забрать за хранение портрета врага народа...

А со Стаськой Сережка не раз уже попадал в истории. Тот подбил его как-то поискать у отца пистолет. Сережка нашел «макарова» с полной обоймой. Днем, когда все вроде были на работе, они нарисовали мишень на уличной уборной и устроили стрельбу. Все бы ничего, но они не удосужились посмотреть, пуста ли уборная... И какая-то бабка, увидев над головой свежепробитые дырки, с истошными воплями выскочила оттуда, держа в руках свои причиндалы... Досталось тогда им обоим по первое число. В другой раз Стаська соблазнил Сережку съездить без спроса в цирк, что на другом конце города, на вечернее представление. Вернулись они под полночь в кромешной тьме. Обошлось: отцы-матери были счастливы, что ребята остались целы и невредимы... Как-то Стаська затеял во дворе переброс железным обручем. И обруч этот, конечно, прилетел в самый Сережкин лобешник. Ладно еще не в глаз. Было море крови и слез.

Вообще-то кровью обитателей их квартала было не удивить. Почти каждую неделю в Закаменке кого-то убивали или подрезывали. Сережкин отец однажды открыл даже пальбу в воздух,

возвращаясь ночью с работы. У него настойчиво просили заку-
рить. Сразу отстали. Но участники честных потасовок носили
среди пацанов ореол героев. Однажды нашли убитым, с ножом
в спине, Альку Коровина, непререкаемого авторитета окрест-
ной шпаны. Так даже первачи долго пересказывали друг другу,
«как этот слон сначала отключил троих (шестерых), но пропус-
тил предательский удар в спину...»

Вой Стаськи Кудиярова затихал. А Сережка решил, что, ког-
да все уляжется, он даст другу покататься на своем «подростке»,
сколько тот захочет. Если, конечно, пришлют с завода новую
вилку вместо сломанной.

А Сережкина мать, проведя с ним душеспасительную беседу,
потом еще долго будет заглядывать в его глаза по разным пово-
дам. И Сережка научится невинно подставлять свои чистые гла-
за, уже твердо зная: правды там ни одной живой душе не про-
честь.

1994 г.

496549

Кемеровская областная детская
Библиотека им. А.П. Гайдара
Принято в дар

ЭКСПЕРИМЕНТ

В последнее время что-то сладу нет с моим одиннадцатилетним сыном Димкой. То ли потому, что он вступил в ряды «тинейджеров», то бишь «-надцатилетних», то ли улица дурно влияет. Короче, сплошной праздник непослушания.

Но вот на днях попались мне на глаза откровения одной заокеанской психологини: надо-де иногда меняться местами со своими родственниками. Моделировать, так сказать, ситуэйшн, лепить скульптурные группы. Вроде как входить в положение... Решил я что-нибудь такое смоделировать. Ну, например, обмен ролями с сыном после его прихода с улицы в двенадцатом часу ночи, когда сказано прийти в девять. И это с часами на руке!

Обычно я в подобных случаях сначала себя готовлю: разряжаюсь в настенную макивару, что сиротливо висит у меня жалким напоминанием когдатошнего каратэ. Помолотив таким образом кулаками, уже могу открыть дверь в более или менее безопасном для своего отпрыска состоянии. Если же я почему-то разрядиться не успеваю, то ...

Невероятным усилием воли, доступным разве что Штирлицу, я заставил себя достаточно индифферентно среагировать на звонок... Однако наследник на удивление быстро сообразил, что от него требуется. Итак, я жалобно встал в дверях с велосипедом в ногах и футбольным мячом под мышкой, затравленно поглядывая на «отца». С велика стекала грязная жижа, а с мяча опадали на свежевытертый линолеум какие-то комья сомнительного происхождения. Димка-«папа» уже недвусмысленно надвигался на меня с половой тряпкой наперевес, дико вращая зрачками, точно гладиатор перед решающим выпадом.

- Где ты был, мерзавец? - вскричал он.
- М-м-мы это... в в-велобол и-играли, - заикался я.
- Я тебе покажу велобол!

Раздался свист заносимой тряпки.

- Сукин ты сын, наглец! Сколько еще мне будешь нервы мотать? Мы тут с мамой с ума посходили. То ли его убили-ограбили, то ли машиной задавило, а ему все как с гуся вода! Морда паршивая!

Я инстинктивно прикрывал ладонями эту самую морду лица, тщетно пытаясь защитить остальные нежные места.

Подскочила жена, ошарашив меня совершенно неподдельным ужасом в глазах.

- Только не по голове! Только не по голове! - запричитала она.

- Да знаю! Голова у него - самое слабое место! Горшок с дерьмом, а не голова! Получи, инквизитор!

- Слушай, ты чего? Совсем сдурел? - попробовал я поставить новоявленного «родителя» на место. Но тот еще больше распался:

- Ишь ты какой выискался отец русской демократии, паразит! Особа, приближенная к императору, тварь подлая!

Тряпка продолжала свистеть.

- Я больше не буду-у! - взмолился я наконец, убедившись, что «папа» безнаказанно переигрывает.

- Ну, что стоишь? - сбавил он несколько децибелов. - Марш в ванную! И чтобы через пять минут был в постели!

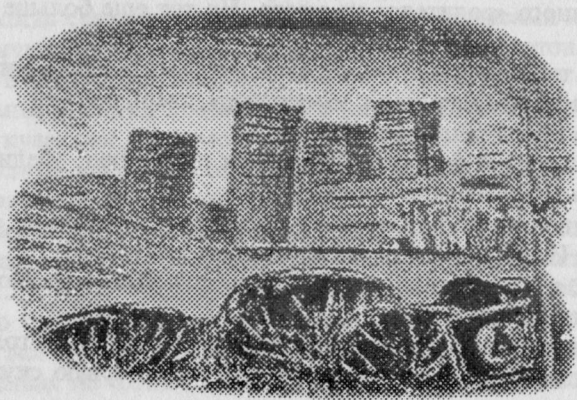
- А-а... а-а... - только и могла выдохнуть жена в умопомрачительном приступе смеха.

- Ы-гы-гы... ы-гы-гы... - восторженно повизгивала годовалая Аленка, указывая пальчиком на нашу живописную скульптурную группу.

Но мне было не до смеха. Нет, все-таки их нравы для нас совершенно неприемлемы.

1988 г.

Зубовский бульвар



ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР

Памяти Евг. Покатаева

Шестнадцать лет... Я первый раз в столице.
Ты - много старше. Надо мной опека.
Мне нравились Москвы постфестивальной
особый запах, краски интонаций...

Ты, меломан, водил меня по «джазам»,
по «Серенадам Солнечной долины»,
в том убежденный непоколебимо,
что Ойстрах послабей Луи Армстронга.
Тащился от фокстрота «В Линд-отеле»,
от «чучи», переделанной в частушку:
«Па-ба-ду-бааа! О, задери повыше ногууу!»
- «А я не могууу!» - «А я помогууу...»
(Стишок из прочих самый безобидный.)
В восторге от озвученных историй
о «буги», диксиленде, рок-н-ролле -
за что тебя турнули с комсомола -
я привозил домой лихие ритмы:
«Не ходите, дети, в школу!
Не танцуйте падеграс!
Пейте, дети, кока-колу,
а танцуйте рок-под-джаз!...»

И надо же, с тобою в коммуналке -
Центрального ТВ вальжный диктор,
кумир официанток ресторана,
что рядышком - у Крымского моста.
Свободных денег вечно не имевший,
он заходил, как друг, и угощался,
опустошая старый холодильник,

чем в ужас приводил твою супругу.
Затем курил, смотрел себя по «теле»,
местами ненавязчиво бросая:
«А, черт возьми, талантливо, старик?!»
Ему я - через годы - стал обязан
тем, что живьем Высоцкого увидел:
Бесценные билеты на Таганку
по мановенью Толи появлялись.
Забуть ли, как мы трое мастерили
из косточек сливовых ожерелье
для дикторши - неотразимой Люси,
любви закатной твоего соседа.
Как екнуло тревожно сердце, помню,
когда звезда улыбкой одарила.

В друзьях твоих немало звезд ходило,
не самой первой свежести, быть может,
актеры или бывшие спортсмены.
Мне льстило пожимать им крепко длани
и слушать их охотничьи рассказы.
Средь них один заслуженный из МХАТа,
с фамилией достаточно известной,
читал спяна рязанского поэта,
стихи переиначив непристойно.
Ты с ним тогда поссорился до драки:
«Юродствуй! - Но Есенина не трогай!»

А сам ты ночью той же вдохновенно
прочел мне «Зодчих» Кедрина на память.
Могло ли это пролететь бесследно
для моего, как будто губка, слуха?

Все Новодевичье мы - вдоль и поперек:
надгробья знаменитых и великих.

А скромная могила мне открыла,
что твой отец, рабочий типографский,
когда-то жил в строеньях монастырских,
здесь обрета и свой покой последний...

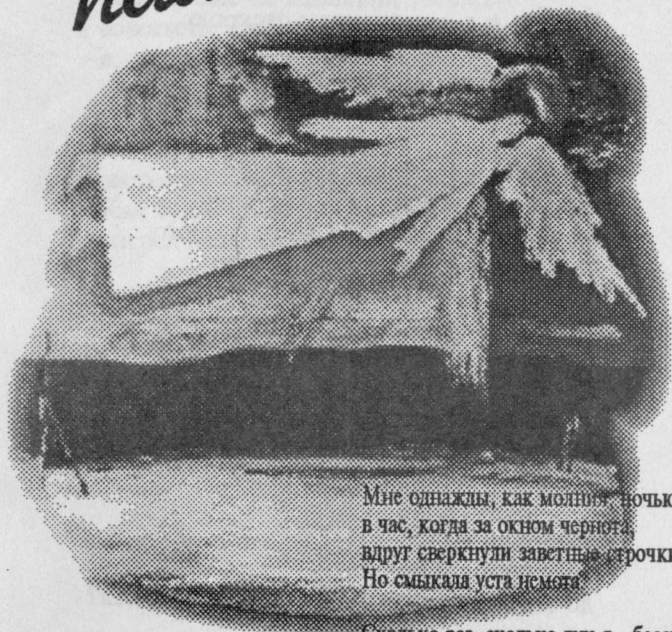
А помнишь, как на чьей-то важной даче -
в футбол - подумать только - с мастерами!
На вид тяжелый, но безумно верткий,
ты в грязь лицом ни разу не ударил...
С твоим «Проход повсюду - Мосэнерго»
мы «брали» все дворцы и стадионы.
Но стадион «Динамо» - это что-то!
Поляна - просто лакомое блюдо
для мастеров и подлинных гурманов.
(А «Лужники» прозвали огородом.)
На игры да с бывальщиной в запасе
съезжались умудренные «фанаты».
Но всех, конечно, умиляла Машка -
поклонница армейцев с «прибабахом»:
«А седни Шестернев играть не будет -
колени... Алик щас мне попался...»

Когда на край Москвы ты перебрался,
покинув наконец-то коммуналку,
встречались мы все реже, лишь на вечер.
Как водится, иных друзей завел я,
и ценности прибавились другие.
Порой меня коробили, не скрою,
твои повторы, свойственные старшим.
По поводу сему язвил - напрасно.
Не обессудь за ту мою ершистость
«объевшегося рифмами всезнайки».
За это прегрешение воздастся
от сына мне - таков закон природы...

Как прежде, через Зубовку рвану я,
едва дождав зеленого сигнала.
И, кажется, картонная пластинка -
на семьдесят плюс восемь оборотов -
опять звучит на ветхой радиоле.
А ноги сами отбивают такты:
«Буэна сэра! Синьорина! Пап-туб-да-а!

1993-1995 гг.

Музыкальная память



Мне однажды, как молнии ночью,
в час, когда за окном чернота,
вдруг сверкнули заветные строчки...
Но смыкала уста немота.

Сколько раз, сколько лун я - бесчисленно
наяву их стремился найти!
Но, боюсь, только отсвет залетных
и сумел до листа донести.

1995 г.

МАМИНЫ СТИХИ

...И вновь к моей округлой дате,
забыв на миг заботы и тревоги,
она напишет искренние рифмы,
сердясь на непослушные размеры.

Письмо я с нетерпением раскрою,
и теплою волной меня овеет,
что радостью нечаянной напомнит,
как в детстве пахло мамой полотенце...

Но вот лежат передо мною
другие - пожелтевшие - листочки,
те, что отец хранит с Сорок Второго.
И почерк бесконечно узнаваем:

«Я знаю, что тебя от смерти заслонило
и - верю - впредь спасет наверняка:
Люблю тебя, родной, с такую силой,
с какую ненавижу лютого врага!»

.....

Смогу ли я,
хотя б одной строкою,
до этой простоты всевышней дотянуться?

1980 г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Мне скоро восемь... Дом багрово-черен.
Усатая икона без креста.
«Каприччио» Чайковского в миноре
сменяют скорбью радиоуста.

Малец, еще не ведавший тревог,
совсем не к месту, звонко и невинно
я, поглядев на радио, изрек:
«Да выключите эту говорильню!».

И разом коммуналка поперхнулась,
застыла с тихим ужасом в глазах.
Как будто сталь винтовочного дула,
уперся в спину вдруг холодный страх...

Грешно - в свое же прошлое стрелять.
Там открываю больше света нынче.
Но...включат «Итальянское каприччио»,
и ноги отнимаются опять.

1987-1994 г.

ЭХО

Когда мне углекислоту -
обмана, серого лукавства -
вдыхать совсем не вмоготу,
я вспомню музыку пространства,

где, точно снег на Покрова,
душа той кипенью горела,
где были искренни слова
и невесомость знало тело.

Тогда покажется на миг, -
как будто камня сброшу груду, -
что эхо отроческих игр
звучит из дальнего Оттуда...

Опять лечу во сне, как встарь.
И там, на грани совершенства,
тех лет негаснувший янтарь
струится по сердцу блаженством.

И о минувшем не скорбя,
вновь улыбаюсь я спросонок,
как улыбается ребенок
от осязания себя.

1984 г.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В. М.-у

За ночью ночь - по коже мороз:
хореи, ямбы... сонет.
В толстый журнал листы привез.
И вдруг лукавый ответ:

«Сыграем в шахматы? Не мастак?
Проверим форму твою».
Играл ты крепко. Не помню как,
я чудом ушел на ничью.

«Конец разминке. Работе срок -
прожилки в породе искать!»
Ты отобрал шестнадцать строк:
«Не слабо. - Пойдут в печать».

Пожал плечами: «Тебе дано
нечто сложить в стихи.
Но, может быть, тебе суждено -
в стремнине иной реки?»

Ну и задачку ты зацепил!..
И по прошествии лет
не знаю, чашу сию испив,
стоило пить или нет.

В другой игре я забрался в «пат»,
загнанный, между бед.
В такие часы не знаешь, брат,
стоило жить или нет.

1992-1995 гг.

РЕЧИТАТИВ БАРДА

Перевал. Передышка.
Итожу я
И улыбки, и козни судьбы.
Зацепило меня, покорежило.
Моя жизнь поднялась на дыбы.

До крови ободрался о заросли
лжи и подлости.
Но больней -
Биотоки хронической зависти
от вчерашних «вода-не-разлей».

Не износишь лица без стыда:
И отступник, и грешник покается.
Но беда, что в душе разрастается
торричеллиева пустота.

«Настоящее - ненастоящее...» -
слышу рядом и горечь и плач.
Жду, ищу и бешусь...
Но обрящу ли,
вновь пускаясь отчаянно вскачь?

Как в собачьих глазах, черно-белыми
дни бегут предо мною сейчас.
Ох и времечко! Что ты наделало,
жутким смерчем по душам промчась!..

1994 г.

НЕЧАЯННЫЙ СВЕТ

Земля до кости омыта
дождем без конца, без края...
Идет по аллее пустынной
зверь в пальто нараспашку.
В руке у него добыча -
круг колбасы изрядный.
Внезапно собаке бродячей
круг бросил он безотчетно.
Та дернулась было с испуга...
Но вдруг от косматой шкуры
свет отделился струйкой.
И отблеск того сиянья
коснулся усталого зверя...

1994 г.

НА КАТКЕ

На подбитых радостью коньках
в отсвете прожекторов
девчонки
стайками проскакивают звонко
в невозможно ярких свитерах.
В скорости мороженого ветра,
в сонме красок, радующих глаз,
чудятся вдруг...
чудятся приметы
Времени, летящего сквозь нас,
вплавленность
всего земного в этот
ниоткуда в никуда полет...
И тогда внезапно стихнет ветер
и дорожка под коньком замрет.
К свету поднимаешь осторожно
странно невесомую ладонь...
Но бесстрастной матовостью кожи
не измерить трепетный огонь.
И тогда отчетливо и грустно
зябко ощутишь, как никогда,
найденность мерцающего чувства
в Хаосе Нетающего Льда...

1976 г.

* * *

*«Экономьте ваши форте...»
(Реплика дирижера оркестру)*

Вы настраивайте души
на какой угодно лад.
Но не рушьте фортепад
на имеющего уши!

Птицу голоса наружу
не пускайте всякий раз.
Пусть об этом просят вас,
будь Сократ вы иль Карузо.

Придержите ваши крики,
даже если сердце жжет,
как маэстро бережет
звук на старой мудрой скрипке...

1977 г.

ФИГУРИСТ

Вы помните, к небу устремлен в мольбах
заламывающий руки парень темно-русый...
Впервые на льду звучит Бах;
звучат страсти Иисусовы.
В своих послых красноречив,
в воздухе зависающий,
он выше верхнего «до» молчит!
И падает ниц, страдающий...

1979-1992 гг.

ЗВУЧАЩИЙ ФУТБОЛ

...Хмельное крещендо эмоций,
И форте,
Фортиссимо,
Г-о-о-л!
Да, если б сегодня жил Моцарт,
То он полюбил бы футбол!
Футбол - это нечто такое,
Что просто нельзя не любить.
Как ветер победных аккордов
...проигранных суетных битв.
Вновь радость
Взвивается к горлу,
Никак не вмещаешь в груди.
О праздник!
О музыка гола...
Да будет она впереди!

1976 г.

* * *

Задумчиво и безманерно,
туманный излучая свет,
смотрела женщина с конверта

пластинки

сквозь завесу лет.

«Я пережил свои желанья,
я разлюбил свои мечты...» -
давно уснувшее дыханье

возникло,

смолкли я и ты.

То клокотал, то шел легато

тот голос,

и казалось, что

его мы слышали когда-то:

тому назад лет, может, сто...

Нет. Перед вышшею печалью

и наши не были смешны,

но незаметно отступали

на рождестве ее души.

И звуки осязались кожей,

и перехватывала грудь

неодолимой и тревожной

волной

спасительная грусть...

1979 г.

* * *

Я пианино в долг купил когда-то.
Не зная нот и сам не знаю как,
через неделю... «Лунную сонату»
сыграл тебе. А ты в ответ: «Чудак...»

В каком-то сне горячечном, за вечер,
гитару взяв впервые, - волшебство! -
и... «Только раз бывают в жизни встречи»
я подобрал. А ты мне: «Ничего...»

Быть может, это выглядело диким.
Но так, что жгло и раздирало грудь,
неповторимое «Сомненье» Глинки
я спел тебе. А ты: «Какая грусть!..»

И в первый раз тогда сложил стихи я
о звездах, о тебе, и о луне,
и о душевной, кажется, стихии.
Ты похвалы не высказала мне...

Неистово на теннисной площадке
творя неотразимые «гасы»,
я превзошел себя на два порядка.
Но молча за игрой следила ты...

Я забузил. Напился. Потерялся.
Ушел на дно. Залег и ни гу-гу,
когда твой шепот в трубке вдруг раздался:
«Прости, но без тебя... я не могу».

1987 г.

* * *

Давай взлетим поверх кудлатых туч
туда, где льнет к губам горячий луч...

Вчерашнее - не надо, не иначе!
Сотрем с лица всю горечь неудач,
как пыль с гитары.

И споем сейчас!
Быть может, это наш последний шанс.

Опять сольются наши голоса,
и вновь забьются глупые сердца.

Растает мигом застарелый лед,
и вместе души ринутся в полет.

Пускай до слез возьмет сплошной наив!
Пусть, как вино в груди, густой мотив.

Твое сопрано и мой хриплый бас.
Спасительны созвучия для нас.

Да, это наш беспроигрышный шанс:
нам на двоих назначенный романс!

1990 г.

АНЮТА

Ты выбирала нас предолго,
летая где-то меж планет.
И вот, ниспосланная Богом,
явилась к нам, на белый свет.

В свои три месяца от роду
гляделась пристально в меня.
Неужто ведала, как я
жил без тебя все эти годы?

По мне, так ангельски красива
ты, Галатеи ипостась!
О, сколько лет кроватка сына
тебя ждала!.. И дождалась.

Пора придет, и станешь взрослой.
Дай бог увидеть не во сне
нимб, заплетенный в эти косы,
и чуть побыть в твоей весне.

А перед тем, как взлечу,
в последний миг прощальной грусти
ты - знаю - веки мне опустишь.
И больше счастья не хочу.

1992-1995 гг.

* * *

И теперь, и во все времена
Суть любви непреложна, одна.
Как ее ни запутан сюжет,
Это очень простая повесть.
Потому что любовь как совесть:
Либо есть она, либо нет.

1971 г.

ПИСЬМО

Я перечел твое письмо,
какому четверть века скоро...
И вот опять, как обожгло,
вновь подступило что-то к горлу.

В провинциалке и девчонке
сплелись - откуда? - крепкий шаг,
и мудрость сердца, и душа
незамутненная ребенка.

...Нашла достоинства во мне,
которых не было в помине:
в себе не отыщу вполне
или отчасти их поныне.

Прости, что нежен не был я,
а был скорее просто грубым,
когда расплескивал до дна
губами - губы...

Не одолел бы ни строки
(их у меня не слишком много),
но знай, они - мои стихи -
все родом из того ожога.

Я перечел твое письмо -
И вот опять как опалило.
О боги, как же ты любила...

1992 г.

НЕОПОЗНАННОЕ ЧУВСТВО

Листок с твоим последним адресом:
Утинобродское шоссе...
Звучит смешно-абракадабросто,
как «деревенское глясе».

Шутил всегда... Дурацкой мордою
в туфлях твоих изъяны зрил.
А в языке русачки гордыя
найти дефекты норовил.

Не признавал и нашу - истинной -
любви старинную игру...
Но почему - незримо, истово -
опять ведешь меня к перу?

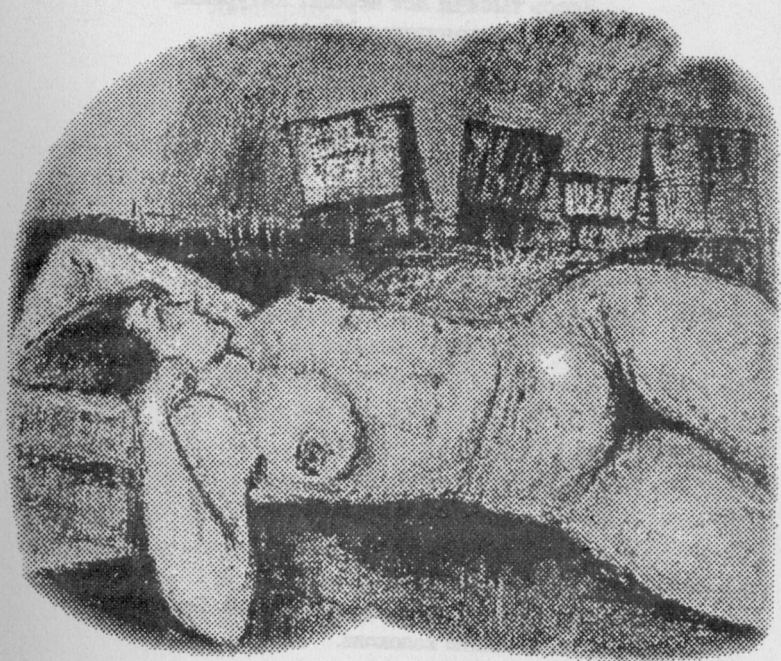
Зачем безручно и безустово,
неверующему Фоме,
крест неопознанного чувства
когда-то вверила ты мне?

И, сединою убеленному,
нести мне до последних дней
нечаянно приобретенную
тревогу на душе моей.

1995 г.

Парижские этюды

1980 г.



НОТР-ДАМ

Запах готической розы,
краски бездонные витража,
органа струящиеся слезы...
И холод той башни почти в небесах,
где в кватроченто -
по камню чеканно -
было начертано кем-то:
«АНАНКЕ...»¹.
Здесь тысячи лет вершат литургии,
и все поклоняются Матери.
Здесь Квазимодо внимал Марии,²
а... трупы лежали на паперти...
Свечи туристы берут, прихожане.
Но почему же безмерно так жаль их?
Не горечь ли это
судьбы безымянной,
как стон, уронивший когда-то
«АНАНКЕ...»?

¹ Ананке (греч.) - рок. Надпись, найденная В. Гюго в соборе.

² Мария - здесь название колокола.

В ЛУВРЕ

Сторожа у «Джоконды»,
колпак и кондишэн.
За бронестеклом
улыбки не слышно.
Господи!
Как же ей душно,
одинокое и скучно!
Если бы знал
Леонардо,
что эту улыбку
оценят
в пятьдесят миллиардов!
Кто больше?
Цена как цена.
Столько стоит теперь
небольшая война...
Скорее, пожалуйста,
в другую Галактику
ей дайте визу!...
А в горле комок:
«Простите, ЛИЗА...»

ПЛАС-ПИГАЛЬ

* * *

Шерше ля фам?
Только бросьте взгляд:
и здесь и там
наготове стоят.
Но ёкнуло что-то:
и вы - на Пигаль? -
Скрывали румяна
в полвека печаль...

* * *

Безотказные женщины
лежат
в магазине.
Есть и мелкий товар:
первичный
признак
мужчины...
Уж-жасно повысилось знанье!

* * *

Двадцать франков
(из двухсот сорока).
За это у нас
паяют срока...
Но зал, как ни странно,
редел и редел:
Каждый смотрел
сколько хотел.
А нам нужно -
сколько дадут.
И будем сидеть
до победного тут!

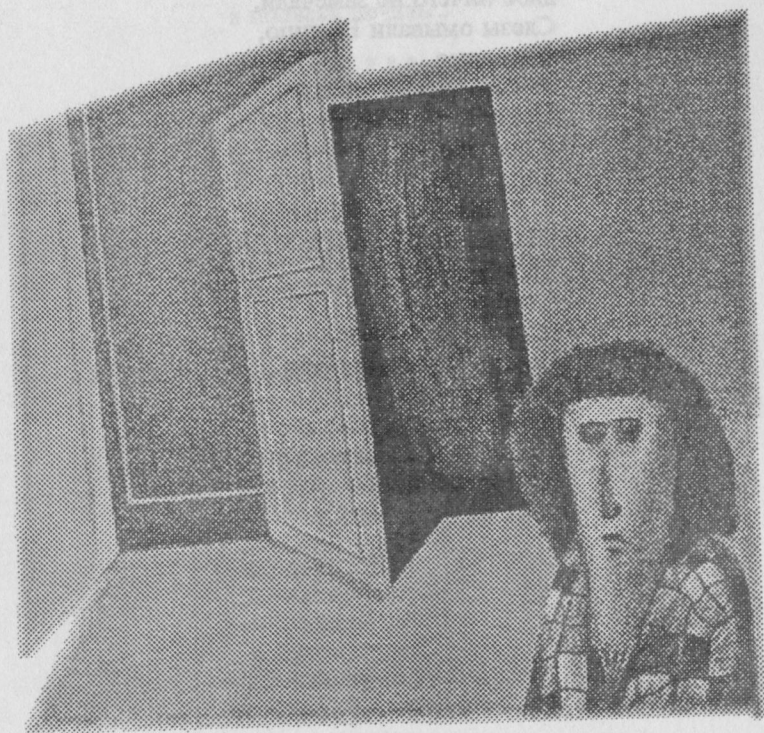
НИКОГДА БОЛЬШЕ...

«Шарль де Голль» -
сияющее кольцо.
И прямо во чреве его
ослепительно скалился
«форд»...
За прозрачной стенкой
крохотного кафе
двое ничего не замечали.
Слезы омывали Ее лицо,
сошедшее
из Рснуаровой «Ложи»,
странно приближая
и освещая черты.
А его рука...
ВНЕЗАПНО Я ПОНЯЛ,
ЧТО БОЛЬШЕ НИКОГДА
ЕЕ НЕ УВИЖУ...
А его рука
гладила ее волосы...
Но под моими ногами
уже стрекотала
серебристая дорожка,
плывшая к самолету...
И горечь потери
меня не оставляет...

Автор надеется не слишком покоробить слух музыкальных гурманов вольным смешением жанров...

Испанское лето

Трагикомедия



ИСПАНСКОЕ ЛЕТО

Симфоническая трагикомедия с оперными и балетными сценами (в четырех частях, не считая увертюры летописца и пространного эпилога героя.)

Действующие лица:

Герой - художник из России, мало известный в своей стране, ищущий новых импульсов к творчеству - - героический тенор

Кармен, она же Карменсита - провинциальная балерина без постоянного ангажемента, испанка с примесью русской крови - - высокое сопрано

Размышления героев иногда протекают на фоне разнохарактерных песен и танцев толпы.

Действие происходит на восточном побережье Испании в г. Аликанте с краткими экскурсиями по городам Испании.

Время действия - 90-е годы XX века.

УВЕРТЮРА ЛЕТОПИСЦА

Приятель мой историю поведал,
на родину из странствий возвратясь.
И вдруг ... повеял дикой страсти ветер,
что опалил неожиданно и потряс.

Доверчиво, прилежно, даже рьяно
я в музыку облек рассказа нить:
шальные форте, нежные пиано
мешали долго мне спокойно жить.

Кармен... Она жива в любую эру!
И здравствует всегда ее герой.
Так мудрено ль, что звуки хабанеры
на сцену прорываются порой?

Что музыку мою секут на части...
Своим героям снова я дивлюсь:
они уже за гранью чьей-то власти.
Я вместе с ними плачу и смеюсь.

1. РОНДО СТРАСТИ

Посланица иной - минувшей - эры...
Не знаю, наяву или во сне
то девочкой...
то пылкою гетерой...
синьорою являешься ты мне...

У церкви Сан-Николас де Баре
и вправду нагадала мне цыганка,
что где-то здесь на шумном суаре
я повстречаю русскую испанку.

Ты меж гостей задумчиво сидела.
Руки твоей нечаянно рука
моя коснулась.
Вольтова дуга
воспламенила душу вдруг и тело!

Тебя послал мне жаркий Аликанте,
чтоб растопить в усталом сердце лед.
Твое густо-медовое бельканто
к неведомому берегу зовет.

Желанная бредовая Сирена.
Амброзия из жгуче-красных роз.
Ты для меня... смертельная арена,
ристалище моих безумных грез.

Ты для меня - и сладость, и мученье,
и вся как будто солнечный удар!
Опасное твое прикосновенье
вселяет первобытный дикий жар.

Я взять хочу, терзать твой рот пунцовый,
напиться соком кожи допьяна...
И, как цунами в море, снова, снова -
по телу сумасшедшая волна...

Все естество твое озарено
звучащим светом.
И порою мнится,
что в Маху Гойи перевоплотиться
тебе самой природою дано.

Венеру бы открыл в тебе Веласкес,
Мадонну - Сурбаран узрел - свою...
А у меня, боюсь, не хватит красок,
чтоб кистью душу выразить твою,

чтоб отразить, как любишь и люблю я,
что предо мной ты кипенно чиста...
Палитра, из которой холст малюю,
не знает то, что ведают уста...

Синьора? Синьорина? Синьорита?
Ты - дьявола подарок для меня
иль божее посланье?
Карменсита! Неистовая музыка огня!

Пустое, будто скоро осень, холод,
коль кровь из жил выплескивает внонь.
Я непреложно, бесконечно молод.
Пылай, моя последняя любовь!

2. БОЛЕРО КАРМЕН

Боюсь, мне речи не достанет,
таких, как ты, не знаю слов.
Пусть огневой испанский танец
всю изольет мою любовь...

Я - ранний плод... под солнцем юга.
Уже не верила, прости,
что можешь вдруг нагрять ты,
что встречу истинного друга,
мой кабальеро из мечты.

Я не страшусь тебе открыться,
всю душу до конца излить.
Да, раньше я могла влюбиться...
Не знала, что смогу любить!

Тебе доверила такое,
что - никому нигде дотоль.
Ты чудодейственной рукою
снимаешь давешнюю боль.

К тебе лечу - бушует радость,
преображая дождь и зной.
Ты незаслуженной наградой
мне послан богом: ты - святой.

И в нашем возрасте, и в странах
различия не вижу я.
Люблю тебя. И я - желанна.
И крик во мне: я вся твоя!

Все для тебя мои обличья:
наряд, и образ, и колор.
Кармен я... Донна... Беатриче...
Как пожелает мой сеньор...

О, как смешны теперь соблазны,
обуревавшие меня!
Ты будто все дурные сглазы
легко рукою той же снял.

Порой в глазах твоих читаю
я... неуверенность во мне.
Другого способа не знаю,
как сжечь ее в моем огне.

К тебе невероятно тяга.
Ты - мой идальго, мой герой.
И ни в каких одеждах Яго
не разлучит меня с тобой.

Меня от счастья слезы душат.
Но вдруг... охватывает дрожь:
а если я тебе наскушу,
ты отвернешься и уйдешь?..

Нет, не снести с тобой разлуку.
Учиться заново ходить?
Скорее перестану жить...
Или для всех я стану куклой.

С тобою рядом дни и ночи
я чем угодно быть учусь.
Я - глина, ты - Буанаротти.
И потерять тебя - боюсь!

3. ПИЦЦИКАТО СОМНЕНИЯ

Карменсита! Что с тобой случилось?
Ты сегодня вовсе не моя.
И глядишь, как будто сквозь меня.
Вся необъяснимо изменилась.
Что моей Кармен мешает жить?
Не дает покоя зов Мадрида?
На твою чакону, может быть,
королевский двор имеет виды?
На большой арене выступать...
Шквал оваций: «Браво!».
Мило очень...
О Мария Санта-богомать!
Танец живота! - Буэнас ночес!
Не гляди тоскливо за окно -
в Сарагосе или Барселоне
всем потребно от тебя одно:
тело, тело... иль с него купоны.
Как же мог поверить я, глупец,
в то, что любишь, - это чувство свыше, -
что сильней ты духом, наконец!
Боже милосердный!- Ты не слышишь...
Если б знала ты, как я хочу,
чтобы Карменсита прежней стала!
Я, медведь,- увидишь - разучу
танец болеро с тобою к балу.
Ты сегодня вовсе не моя.
Монолог мой - путаный и зряшный...
Ищешь нечто позади меня.
Этой ночью мне с тобою страшно...

4. КАПРИЧЧИО РЕВНОСТИ

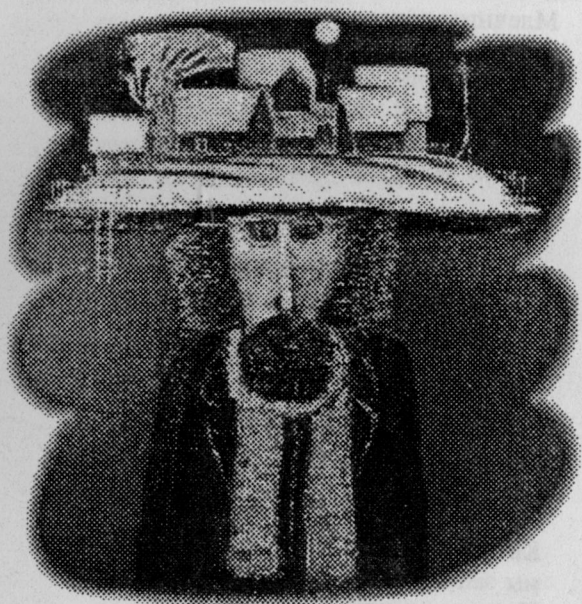
Быть красивой - это божья кара!
Этот крест повсюду носишь ты:
от Бильбао и до Гибралтара
букву «О» поют мужские рты.
Ты умеешь просто, без искусства
ветреной иль строгою предстать.
Но не избежать оскалов гнусных...
Будешь комплиментов ожидать?
Красота твоя невыносима.
В мире, столь жестокостью больном,
рядом с восхищением - насилье,
если не в обличии одном...
Нет. Не скоро век мгновений чудных
к нам вернется сызнава, мой друг.
О Кармен! Тебе живется трудно?
И тому, кто близко, - много мук.
Если ты жемчужиной любим,
непрерменно чувствовать отчасти
псом себя цепным сторожевым...
Странное - не правда ль? - это счастье.
Горечь не избыть - не позабыть,
хоть бодрит опасность в малых дозах.
Как рябину, прежде чем убить,
подслащают первые морозы.
Грусть - Любовь как близнецы Сиама,
Янус, что с двуликой головой.
Где звезда, что нам с тобой сияла,
что плыла высоко над толпой?

ЭПИЛОГ ГЕРОЯ

И вновь минор в последней части.
Остывших чувств осенний вид...
Я не убил испанку, к счастью,
и потому... Она летит
в Сан-Себастьян - Буэн вояже! -
туда возжаждала до слез.
И с ней, наверное, на страже
оруженосец новых грез.
Дай бог ей только не разбиться.
Авось, и вспомнит тот привал,
где, как подраненную птицу,
ей душу я отогривал.
Не слишком сладостные речи
прощально спели мы в сердцах.
Была разыграна беспечность
в ее египетских глазах.
Твердил себе: в ней все обманно -
и взгляд, и жест, и смех, и грусть...
Но на развалинах романа
искал я рудименты чувств.
В Кармен бушует хабанера.
Ту чашу выпало испить...
Она хранила столько верность,
сколько любила, может быть.
Моя шальная круговерть...
И слава богу, что излечен:
не может обморок быть вечен.
Иначе... он зовется смерть.
Что было, то почило в бозе:
вступил в ребро тот самый бес,
и воспарил я до небес.

Антильские мотивы

1994 г.



1

Я вспоминаю ласковый ветер,
деревья, усыпанные бананами.
Пальмы, хлопающие своими ладошками...
Мулатка из Гуа-Наре -
Розали с мечтающими глазами,
вдохнувшая в меня вторую жизнь...
Манговый плод твоих губ
источает нежную влагу.
Млечным соком кокоса
омыта нёба прохлада.
И запах твоих волос
таинственной птицей
трепещет
в силке моих ладоней.

2

Песок служил нам теплой постелью...
Ветер морской щедро
нам отдавал, жадным,
виноградников нежный запах -
нам, беглецам, сокрытым
причудливой тенью листьев.
Мои обожженные губы
делали грудь твою непокорной,
когда мы переплетались...
Казалось, двумя телами
мы заполняли пространство.
И время струилось, поскольку
мы течь ему позволяли...

О, эти вечные ласкуши! -
теплые губы волн вечерних.
Ребенком солнце в них играет,
забыв свое предназначенье.

Вода трепещет и стремится
прильнуть к ногам цветов прибрежных
и никого не забывает
отметить поцелуем нежным.

А по камням, свежоомытым
влажным дыханием прилива,
сверкая белизною ноши,
ступают прачки горделиво.

Но ярче кружева в корзинах
зубов их перлы - вспышки блица!
Ждут кисти нового Гогена
эти загадочные лица...

Покидая море и солнце,
прощаясь с деревьями нежно,
чувствую запах корицы
и соки земли под ногами.
Я странно легко проникаю
в глубь девственного леса
и так же легко возвращаюсь
в дом, цветами обвитый.
Встречаю улыбку креолки.
Она в красном, желтом
и густо-оранжевом цвете.
Юную шею ласкают
свежего жемчуга бусы.
Корсаж пускает на волю
смуглые тонкие плечи...
О, скоро любовь коснется
щек, припухлых и робких!
Дай бог тебе, девочка, счастья
и этой земле незабвенной...



Мелодия

Горит сентябрь... Не поздно и не рано
В оправу чувств и стать, и кровь облечь,
И бархат глаз твоих, сиянье плеч -
Все бриллианта радужные грани.

Я помню первозданность юных щек...
Чрез годы - чистота неуязвима.
Но тайну глубины необъяснимой
Доныне разгадать в тебе не смог.

Мелодии улыбки и печали,
И нежности, и страсти - все с начала -
Хотел бы вплесть в серебряный клавир.

В твоём молчанье - обморок органа...
Ты вновь открыла: «Истина - в любви!» -
Мне в самый раз, не поздно и не рано.

1995 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГДЕ-ТО ЗА КАМЕНКОЙ. Рассказы.	3
А мне всего четыре дня...	4
Гэбешный десад	7
Где-то за Каменкой	13
Эксперимент	18
ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР. Стихи.	20
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ. Стихи	25
Мамины стихи	26
Музыкальная память	27
Эхо	28
Вторая попытка	29
Речигатив барда	30
Нечаянный свет	31
На катке	32
Вы настраивайте души...	33
Фигурист	33
Звучащий футбол	34
Задумчиво и безманерно...	35
Я пианино в долг купил когда-то...	36
Весеннее	37
Давай взлетим поверх кудлатых туч...	38
Анюта	39
И теперь, и во все времена...	40
Письмо	41
Неопознанное чувство	42
ПАРИЖСКИЕ ЭТЮДЫ. Стихи.	43
Нотр-Дам	44
В Лувре	45
Плас-Пигаль	46
Никогда больше...	47
ИСПАНСКОЕ ЛЕТО. Стихи	48
Испанское лето	49
Увертюра летописца	50
1. Рондо страсти	51
2. Болеро Кармен	53
3. Пиццикато сомнения	55
4. Каприччио ревности	56
Эпилог героя	57
АНТИЛЬСКИЕ МОТИВЫ. Стихи	59
Я вспоминаю ласковый ветер...	60
Песок служил нам теплой постелью...	60
О, эти вечные ласкуши!	61
Покидая море и солнце...	62
Мелодия...	63



Вячеслав Лопушной

*Неопознанное
чувство*

Вячеслав Лопушной печатался в сибирских и центральных изданиях, начиная с 1976 г. Книга «Городской романс» (1993 г.) была замечена прессой, читателями, литературоведами.

Свою вторую книгу автор построил довольно своеобразно: от лирической прозы он переходит к «белой» поэме и элегическим стихам, а затем... следуют прямо-таки геологические изыскания (ведь автор в «миру» — инженер-строитель) в недрах вечной темы. И, как бы устав от поисков, он впадает, по выражению Б. Пастернака, «как в ересь, в неслыханную простоту», заканчивая классическим сонетом.

Ядро лирики Вячеслава Лопушного — это звучащий импрессионизм, порой граничащий с абсурдом. Его «неопознанное чувство», как НЛО, витает над книгой. Остается пригласить в этот полет и читателя.